

Лариса КВИТКА

Люлечку качала,
песню распевала,
душу раскрывала,
губы подставляла,
сердце отдавала...
Стала маленькая...
Люлька заскрипела.
Песню не допела.
Душу защемило.
Губы прикусила.
Сердце вдруг завывало —
и заголосила — женщина!..

Люля, люля, люлечка.
Какая же я дуручка...
Глядь, а где же люлька?
Нету ничего...

Луна — бездонная дыра,
висит, как гиря, и смущает.
Все в жизни нашей
разрешает,
ошибок только не прощает
и знает все про всех, дрожа,
к любви зовущая она...

Нагая, желтая плутовка,
в страстях погрязшая
чертовка,
зовущая нас в никуда...
Такая гордая — одна
на небе черном зависает,
молчит...
И тайны вечности хранит.

И никто, и ничья —
беспризорница я...
Без приюта, тепла,
вся горю от стыда,
хоть живу, но мертва.
Душа рублена,
нашигована.
Натолкали в меня
за всю жизнь и сполна...
Сыро и серо...
От всех детских прикрас
остался лишь сказ —
о вкусных пирогах,
о добрых молодцах...
Ах, ох, ой-ей-ей!
Это было все со мной.
Посолили, поперчили —
и котлетку получили,
а порублена душа
в пятку спряталась, спеша.
Я теперь хожу, хромаю,
свою пятку проклиная...
А котлеточка-душа
была сочная...

Глаза —
зеленка в почемучках,
Зрачки — неведомая даль...
Ресницы — робкие зарницы,
слезинки — детская печаль.
Не плачь!
Улыбка украшает,
светится и пой,
ты отдана судьбе!
Твоя звезда, твоя надежда,
счастье...
Все это есть...
На небе иль земле?

Шары — ушли...
Куда?
Туда, где нет...
Чего?
Неба...
А где летят?
Где хранят память о том,
что летают шары,
и лепечут мечты,
что есть любовь
и вечно она будет...
Любить меня?...
Вот и лопнул шар.
Какой?
Чужой. Простой. Голубой.
Резиновый.

В запертые двери
вошла сама.
Распахнула окна — обмерла:
на пороге белый конь стоит,
грива алая, что огонь, горит.
Захлебнулся
он ржанием своим,
и вот — летим!
А вокруг туман и белый дым,
страна небытия.
Конь мой красным стал,
а вся седая — я...



А я все чаще думаю о ней,
но мысли с каждым годом —
все печальней,
все безнадежней,
горше и нежней,
с какою-то грустинкою
прощальной.

На встречи нам наложено табу,
на письма и звонки — запрета вето...
все в прошлом. И наивно клясть судьбу,
и незачем казнить себя за это.

Все в прошлом. Но лежит на сердце гнет,
а губы сводит горькая улыбка.
Мне двадцать лет покоя не дает
та юных лет нелепая ошибка.

Сейчас бы лишь взглянуть в ее глаза...
Да полноте! Себе-то лгать негоже.
Что, снова отказали тормоза?
Когда же это кончится, о боже?!

Золушка

В стайке шумных и смелых подруг
неуютно и тягостно ей,
не познавшей ласкающих рук,
не изведавшей жарких ночей,

не стрелявшей голодным зрачком,
где бы лоха поймать на крючок...
Сам бы рад быть таким дурачком,
только незачем ей дурачок.

И умна, и собой недурна,
но все время одна и одна.
То ли сердцем она холодна,
то ли очень кому-то верна?

А подружки листают «Плейбой»,
распалая порнухой сердца,
на панель высыплют гурьбой,
интуристов лова «на живца».

Лишь она то стирает белье,
то «колдует» за ткацким станком,
хоть и знает, что кличут ее
старой девой и синим чулком.

Строго Золушка схиму блюдет,
на уме у ней — только дела.

Виталий ЦЫГАНКОВ

То ли принца заморского ждет,
то ли клятву кому-то дала?

Назовет ее кто-то больной,
кто-то пальцем крутит у виска.
А меня вот по ней лишь одной
беспросветная душит тоска.

Лишь по ней — неприступнее скал,
не свернувшей «налево» в пути...
Я полжизни такую искал.
И другой мне такой не найти.



Завтра снова в дорогу

В этом укорять меня смешно —
в том, что не ручной и не домашний.
Мир нельзя увидеть сквозь окно
даже самой развешенной башни.

Все хочу познать, пока не слеп,
все потрогать собственной рукою.
Коль уж это мой насыщенный хлеб,
значит, рано думать о покое.

Если хлебороб залег на печь,
где же быть большому урожаю?
Так и я кормлюсь от новых встреч —
только потому и уезжаю.

Ты же у меня всего одна,
здесь нелепы ревности эксцессы.
Мне других не видно из окна
бешено летящего экспресса.

Равиль САЙФУЛЛИН

На 8-е к маме...

Ты на плечи накинула шаль,
грустно смотришь на ящик почтовый.
Мама, милая, мне тебя жаль,
видно, я у тебя непутевый.

Не грусти, не жалея ни о чем,
часто я о тебе вспоминаю.
Жизнь течет родниковым ключом,
а деревья пока замерзают.

И в последние дни февраля,
в эти дни холодов и морозов,
я пошлю тебе нить янтаря
и цветы — белоснежные розы.

Ты с улыбкой подарок возьмешь:
«Знаю, письма писать не умеешь.
Ты, сынок, мои мысли поймешь
и поздравить весною успеешь».

Аркадий ПРАВЕДНИКОВ

Когда душа укрыта ночью
и кокошим уже не в радость,
когда сомненья сердце точат,
но вера в женщину осталась —
не одолеют нас печали,
не победят болезни тело,
лишь повторять нам надо чаще:
«Родная, ты помолодела!
Родная, ты — моя надежда!
Любовь моя, ты дай мне силы...»
Не только в праздник надо женщине,
чтоб на руках ее носили.

Владимир ШЕР

Дорогие вы наши подруги!
Вам сегодня и честь и почет:
вспоминают и ваши заслуги,
и в труде вами пролитый пот.

Знаем: в жизни вам трудно бывало,
нелегко, как и многим сейчас...
Сила Духа вам силы давала,
сила Воли спасает подчас...

Виктор ГРИНИМАЕР

<<ДИВЕРСАНТ>>

В Европе шла ужасная война, а над этим клочком азиатской степи стояла жаркая осень. Здесь разыгрывались местные трагедии. Люди испытывались кто на прочность, кто на человечность... Кто-то выживал, а кто и нет.

... Среди степи возвышался одинокий карагач, на скрипучем сучке висел подвешенный за ноги мальчишка. Сашка висел давно, ему это было уже нелегко, но «признать» себя фашистом он не мог ни за что.

— Как только осознаешься, что ты фашист, веревка сама развяжется, — сказали они, уходя.

В голове стучало, лезли всякие мысли, вспоминался родной поволжский город с его чистыми зелеными улицами, куда выглядывали из-за цветников, кустов и деревьев прозрачные окна разных размеров и форм. Зеленые и окна украшали аккуратные дома. Сашка любил гулять по этим улицам, особенно по Нижней, может быть, потому, что она была дальней от их дома и мать не могла видеть, как он вместо школы опять шатается без дела. Да, водился за ним такой грех — поэтство, если б не война, он должен был бы второй год ходить в первый класс. Но не пошел. И никогда уже не пойдет. А как хорошо было бы сейчас сидеть в уютной школе вместе с приятелями, которых беда разнесла по всему белому свету. Кто их знает, где они теперь. Может, кто-нибудь так же болтается вниз головой на карагаче, дубе, кедре или бог весть каком еще дереве — оказывается, на белом свете много всяких деревьев и других растений, каких не было на его родине.

Родные приволжские места он знал хорошо — ему немало приходилось бывать далеко за городом. Всей семьей они часто ездили на сутки на огороды и бабки. Там на берегу реки они сажали, обрабатывали, а потом убрали массу вкусных овощей. Зимой всего было в достатке. Сашке вдруг вспомнился моченый арбуз, его сказочный

вкус. Сейчас бы хоть толику из тех погребов сюда, в их землянку!

Отяжелевшая Сашкина голова продолжала воскрешать приятное, давно забытое. Иногда они с отцом отправлялись к реке на сенокос. А как же — ведь они, как и многие в их городке, держали корову и прочую живность. После жаркой работы, если позволяло время, отец устраивался на отдых на берегу с удочкой. После удачной рыбалки дома был праздник с рыбным пирогом. Но Сашке больше всего нравилась рыбка, поджаренная до хрустящей корочки...

Сашка в очередной раз открыл глаза. Никого вокруг не было, но ему послышался свист — может быть, какая-нибудь птичка сидит над его ногами, разглядывает его сверху, насмехается над ним. Но он уже не мог посмотреть туда — голову невозможно было поднять, глаза плохо различали что-либо даже по горизонтали — затекли потом, слезами... Сашка опять вспомнил своих мучителей — за что они его так? В деревне живут все рядом. Все старше его лет на пять, один — Петя — вообще сосед, живет за саманным забором. Все тут саманное: и дома, и огороды, и фермы, и все, что только есть в селе. Даже огромный купол, под которым, как говорят, в давние времена был похоронен богатый кочевник. Сашка уже видел местных жителей — казахов: ничего особенного, похожи на калмыков, только летом одеваются очень тепло — в стеганные халаты и меховые шапки. В такой одежде он и зимой не мерз бы, можно было бы и печку в их хибаре не так часто топить вонючим кизяком — сухим навозом со скотного двора. Одно в этих людях было непонятно — с какой настороженностью они новых поселенцев рассматривали, особенно сильно их интересовали непокрытые головы. Много позже Сашка узнает, что они там тшились увидеть. Рога.

Сашкин отец после их приезда сюда очень быстро куда-то исчез.

Сашка во всей этой сутолоке не сразу и понял, что отец уехал надолго, как потом оказалось — навсегда. Скоро выяснилось: отцов вообще не стало, как и старших братьев. От многих из них письма так и не пришли. От Сашкиного отца было одно, еще без обратного адреса. Не знал он адреса, до которого его доведут в том «телянике», когда отправлял жене и детям эту успокаивающую записку. Что с ним произошло дальше, семья не узнает никогда. В обиход вошло новое слово — «трудармия», но произносилось оно шепотом...

— Сознайся, что ты фашист — мы тебя в яму посадим, а не осознаешься — за ноги подвесим, — кричали Петя с друзьями.

Он не «сознался». Хотя в яме сидеть было бы, конечно, значительно веселее.

— Сознайся, сознайся, фашист, фашист! — кричали ребята.

— Нет, их нэт фашист, — затравленно глядя на них исподлобья, повторял он.

— Как же нет, ты и гуторить-то по-нашему плохо умеешь.

— Нет, — говорит Сашка коротко, чтобы не коверкать других слов, не раздражать своих мучителей.

— Как же нет, если в газетке было пропечатано, что вы все фашистские шпионы и диверсанты, а за это вас к нам сослали, чтоб не убежали, — они еще долго доказывали ему свое, а устав, привязали его за ноги к нижнему сучку карагача и оставили так.

... В голове у Сашки все перемешалось, поплыло: арбузы, подсолнухи, дыни, бегущая рябь речной поверхности, голая степь, новогодняя елка с большеротым щелкунчиком... Появилась рогатая голова: неведомо почему, но это — фашист. Голова бычится, скалится, мычит, а рядом скачет орущий петякин рот: «фашист-фашист-шпиен-диверсант-виси-виси...»

Сашка очнулся через много времени. Он лежал дома, в своей землянке, за печкой. Привез его старый чабан, случайно увидевший,



как что-то болтается на одиноком дереве, вдалеке от жилья. Парнишка был весь синий, без сознания, чуть живой и... без рогов.

Сашка поправился. Вырос. Отца он так и не дождался — из трудармии мало кто вернулся из взрослых мужчин. Петя тоже вырос. Долгие годы потом они жили по соседству, через саманный дувал. Дружить не дружили, но и не ссорились. Каждый помнил ту военную осень, оставившую в их душах неизгладимые рубцы. Они до конца дней будут помнить ту войну, на которой сами не были, но которую будут проклинать за то, что она хотела убить в них людей.

Сашка, Александр Адамович, пережил свою мать, добрую тетюшку Амалию, на пару лет. Ему было отмерено на этой земле всего полвека. А его дети, братья, племянники разбросаны по разным странам обновленного мира и терпят родственные узы...